ВЕСТНИК ЕВРОПЫ

РОССИЯ И УКРАИНА

V Гайдаровский форум

Русские & американцы.
Проза и поэзия

Мария Луиза Спациани.
Вдова Гольдони

Дом Джорджа Истмена

Фотопроект:
Дмитрий Зверев

ISSN 1609-5359

SHOUT
SHARE
IT

- Григорий Марк

Григорий Марк
Четыре Времени Ветра

…и соберут избранных Его от четырёх ветров…

Март — август, 2012

Зима

Маленький, обозлённый ветер — не ветер даже ещё, а поветрие, первое поветрие наступающей стужи — зернистою изморозью стягивал растрескавшиеся губы, тугой холодной спиралью пеленал, обматывал голову. Расплющивал слёзы в хрупкие пластинки, вдавливал их обратно в глаза.

Этот день был горящим ручьём в чёрно-белой зиме 56-го, ручьём из зажжённых свечей, сливавшихся в длинное пламя.

Выходили без шапок, растерянные, потные, из тёмной часовенки в расплывы тусклого солнечного света, размноженного миллионом снежинок. Идти было трудно, земля выгибалась, скользила у них под ногами. И прозрачный звон качался в расщелинах неба, заросшего льдом.

Из узкого прямоугольника двери под куполом с перебитым крестом било пламя. Стекало по ступенькам, усыпанным солью с опилками. Переливалось, змеилось по угреватому от фабричной копоти насту между иероглифами хрустальных сучьев, между стёршихся позолоченных слов на плоских камнях и упиралось в другой, страшный, прямоугольник, обведённый жирною рамою из жёлтых комьев. Четверо бородатых, со сверкающими, стеклянными лысинами, стояли по углам, расставив ноги и тяжело опираясь на воткнутые в землю заступы.

Красный гранёный ящик, словно кусок спрессованной крови, проплывал над горящим ручьём. У тех, что шли впереди, пылали отмороженные лица. Холод, спустившийся с неба, тонкими иглами входил в их тела, ломался в промёрзших венах. Тени цеплялись друг за друга, опускались на дно, белое дыхание идущих — видимая часть притаившихся душ — висело над ними.

И нахохлившиеся грачи, веками охранявшие здесь каменные плиты, смотрели на них в упор, вцепившись в чугунные ограды трёхпалыми когтистыми лапами.

Они шагали, наполненные скорбным бесчувствием, — так и

будут они теперь шагать через всю мою жизнь — с трудом отдирая от изъеденных ржавчиной решёток мгновенно примерзавшие к ним голые зрачки. Вытягивали перед собою разбухшие рукавицы, в которых бились рваные клочья огня, не дававшего света. И молчание их было как обледеневший наст, застилавший, выравнивающий землю вокруг.

Последним брёл, тяжело спотыкаясь о корявые тени, торчавшие из снега, шестнадцатилетний человек в беззащитно коротком драповом пальтишке. У него ещё не было ни знания, ни памяти. От камней с позолоченными словами — словами слишком большими для жизни — шёл тихий свет, и те, кто лежали под ними, опускались всё глубже в холодную почву. Завывал, раскачивая пламя в руках, голосил уныло и страстно сразу со всех сторон порывистый ветер. Острыми кристалликами снежного солнца царапал щёки, обжигал, застревал хрипеньем в простуженном горле.

Тело его продолжало идти по скользкому насту, но сам он сейчас опять стоял неподвижно в часовенке с забитыми окнами, стиснутый многоголовою распаренною толпою. Перед глазами качались согнутые спины, но видел он раздувшееся лицо с подвязанной челюстью на белом атласном изголовье. И лицо это было, как сургучная печать на ящике, увитом металлической зеленью с чёрными лентами. Одинокая лампочка свисала на голом шнуре. И выше, по куполу написано было над нею: «Буду плакать я перед Господом». Дремучий священник, окружённый густою безблагостной тишиною, скороговоркой отпускает душу. Кладёт в ладонь уходящему дощечку с разрешительной молитвой. Тоненькая страдальческая жилка бьётся у него на шее. Серебристая тень промелькнула над только что заколоченным ящиком, и исчезла сквозь невидимую щель в куполе. Намертво зажав в кулаке свою подорожную, плывёт к выходу незнакомое тело, огранённое красными досками. Плывёт туда, где должно истончиться, исчезнуть всё бывшее плотью.

Ручей, и внутри его сгорбившийся человек в драповом пальтишке, без шапки, с волосами, поседевшими от инея, стекали в широко распахнутую дверь, обозначенную жёлтыми, со слюдяными прожилками, комьями. Не в дверь даже, а в дверной проём, который охраняли четверо вооружённых огромными заступами стражников в замызганных ватниках с торчащими из карманов бутылками.

Над ровным, будто гашёною известью выжженным полем, над плитами облицованными инеем, плыл воздух, хранивший форму красного ящика. Светился скол тусклого неба, наполненный оловянным солнцем. Голосил, надрывая связки, метался

зигзагами ветер. И окаменелый дым из кирпичной трубы, правильной безнадёжностью проткнувшей насквозь горизонт, стелился вдали над городом, над краем всего, что было.

Не могу понять, почему даже сейчас, через столько лет, мне становится так одиноко, когда вспоминаю об этом?

Весна

Шли, нагруженные бутылками, по прозрачному лесу, раздвигая густой частокол из солнечных лучей и смахивая с лица паутину. И женщина, в теле которой жил ребёнок, шла вместе с ними. Вокруг шелестели берёзы, гордо выпячивали перед ними свои зелёные животы на запелёнутых чёрно-белою берестою стволах. Серебристая весёлая речка плавно кружилась среди белобрысых лопухов, хвощей и крапивы, обнимала блестящими излучинами валуны. И журчание речки казалось прерывистой речью — захлёбывающейся речью недавно воскресшего леса.

Расположились на лужайке, окружённой кустами, у самого берега Медного Озера. Его белая кромка и заросшие камышами топи были уже оплавлены утренним солнцем. На маслянисто-тёмной воде уютно плескались цветные пластинки. Одинокая лодка без гребца и без вёсел качалась в покрытом патиной купоросовом зеркале между сбившимися в тучи клочьями тьмы. Над ней, как одноглавый герб в толще балтийского неба, парил, распластав свои хищные крылья, неподвижный ворон.

Расстелили клеенку, бутылки расставили, открыли консервы. Чьи-то голые руки бросали сверкающий хворост в костёр, с ворчливым кряхтеньем и оханьем ворочавшийся с боку на бок. Постреливали во все стороны красно-синие головешки. Мне они казались обугленными кусками фраз, которые я повторял про себя, пока они не сгорели, и не выбросил их в этот костёр. И слышно было, как подбираются к клеёнке ветвистые тени в дымных одеждах, как подминают они на своём пути белые взрывы одуванчиков, переплетённые тёмные запахи вереска и влажных корней.

Уселись, неторопливо раскуривая в пригоршнях предстоящее молчание. Словно чувствовали уже ту боль, которую я не успел ещё причинить. Женщина, в теле которой жил ребёнок, сидела рядом со мною. Жужжащий обруч мошкары проступил над её головой. И я не мог к ней прорваться сквозь сгущавшуюся тишину.

Чувство вины и моя неуклюжая благодарность смешивались с беззаботным нетерпением перед тем, что должно наступить всего

через несколько дней. Так, наверное, верующие в последний момент перед смертью, забывая о прошлом, ожидают вступления в подлинную жизнь.

Тень державного ворона проплыла по мокрой лужайке. Кусты орешника и бузины, окроплённые солнечными оспинками, похрустывали вывернутыми суставами. Расправляли лениво свои набухавшие соками ветви. Гладили ветер листья-ладони. Промёрзшая чернота, накопившаяся за зиму в капиллярах, трубчатых перепонках, волокнах, высветлялась, выступала наружу тугими фиолетовыми припухлостями почек. Сплошная, тяжёлая зелень с прочерченными внутри её бирюзовыми стеблями мелко тряслась. И только один ярко-красный листок на самом верху, словно орден победы над прошедшей зимой, висел неподвижно.

Метались в клевере мухи, шмели, свисали с ветвей на невидимых нитях бледно-зелёные гусеницы. В траве, разделившейся на миллионы ярких острых травинок, сворачивался крохотными радугами утренний свет, ещё не успевший отделиться от тьмы. Мерцали, переливались только что рождённые в росе головастики, личинки, инфузории. Великая безмолвная оргия взаимного оплодотворения творилась в зелени.

Но женщина, в теле которой билось два сердца, ничего этого не замечала. Она сидела с гранёным стаканом в руке и, не отрываясь, смотрела в костёр, словно что-то очень важное сейчас в нём догорало. Отблеск пролившегося вина стекал по губам. Я подумал, что глаза были слишком большими для её лица.

Вдруг она неслышно произнесла моё имя. Я оглянулся — и, будто тупым напильником, по душе полоснул воспалённою нежностью только что вскрывшихся почек. Вязкая густая тишина снова сомкнулась над моим именем, как болотная вода над камнем, идущим ко дну. И я то ли сказал, то ли подумал: «Обязательно напишу… сразу же…».

Молодой, неуёмный ветер — добрый дух оживших от зимней спячки кустов — носился по лужайке, перемешивал вокруг неё крошево бликов и дрожащих радуг в росистой траве. Клейкие листики, просвечивавшие пульсирующей белизною, легко касались друг друга, замирали и снова разбегались, точно играли в свои зелёные пятнашки. Наблюдали за игрой, чинно рассевшись по веткам, усатые бабочки-однодневки, синие стрекозы, шёлковые мотыльки, ошалевшие от солнца. Всё это надо было запомнить. До мельчайшей детали. До прозрачных, с красными прожилками, крыльев-лепестков, аккуратно сложенных кверху. Не додумывая ни единого кружка на спине у божьей коровки, неторопливо ползущей по рукаву.

Не так-то просто будет привыкать к пустыне.

Я слышал опять дыхание женщины, сидевшей рядом, слышал её влажный голос, но не понимал, что она говорит. Моя пустая телесная оболочка находилась среди живых кустов и радуг, рассыпанных в солнценосной траве, на берегу мреющего в утреннем свете озера. А сам я, уже отрешившись от прожитого времени, отрешившись от тяжести тела, поднимался в прозрачные горы. Закон всемирного тяготения — так же как и все остальные законы страны, где я раньше жил, — здесь не соблюдался. Душа пела во весь голос от счастья, хотя и немного фальшивила. За все эти годы слух у неё так и не развился, да и мелодия была слишком трудной. А слов я не знал.

Вешний ветер, взметнувшийся следом за мною с лужайки, указывал путь. И нижний край неба расступался, как Красное море. Моя тяжело дышавшая тень наливалась темнотою, становилась всё короче и всё уродливее, забегала вперёд, пыталась о чём-то предупредить. Потом опять начинала суетиться, петляла под ногами, замирала и тёрлась плоским телом своим о ветер.

И вот я достиг перевала. Далеко на юге проступила в небе узкая полость, похожая на внимательно прищуренный глаз без лица, поджидавший, когда я его, наконец-то, замечу. Потом вздрогнули жгуты свалявшихся туч и разлепились огромные веки. Медленно выгнулась синяя линза зрачка, и в зенице небесного ока я увидел сквозь воздух, струящийся от жары, двухэтажные домики с плоскими крышами, ограждённые низкими красными кустарниками, пологие купола, холмы, просвечивающие друг сквозь друга, и за ними пустыню, сияющую миллионом зёрнышек света, — голое тело обетованной земли. И время пошло. Медленно, как нигде, но пошло. Моя жизнь начинала сбываться.

…достигнув перевала, продолжай восхождение… к себе, от земли своей, от друзей своих, от дома своего… в пустыне пути приготовьте…

Ещё одна размытая, длинная тень, незаметно выросшая за спиною, упрямо цеплялась за камни и тянула назад.

Небесный зрачок подмигнул неожиданно мне, как будто сообщнику, — потерпи ещё несколько дней — и снова стал мутным, подёрнулся красною пылью. Горячий рассыпчатый свет пустыни сталкивался с обманным блеском Медного Озера. Столб из двух перевитых свечений поднимал стремительно и бесшумно позолоченные тучи, сгрудившиеся над перевалом, расплющивал их по низкому небу. Светлый купол выгнутых туч, очерченный со всех сторон горизонтом, расширялся. И всё, что я видел внутри, теперь было связано ритмом, ритмом дыханья и слов, ускользающим и возникающим снова, прерывистым ритмом,

стучавшим в моей голове.

Перед тем как уйти, вытер тыльной стороною ладони струившийся пот и заставил себя оглянуться. Весь окоём разделился на две половины. В одной колыхалось от края до края расплывшейся акварелью зелёное лúствие, перерезанное сияньем берёз и внутри его плавно изогнутой речкой, а всю половину другую заполнило Медное озеро. И лодка, как прежде, плыла в рябом купоросовом зеркале.

И там, где сливалось изгибами лúствие с кромкой воды, проступила знакомая мне лужайка. На ней путеводный ветер, успевший уже протянуться сквозь обе мои непрожитые жизни, кусочек огня оторвал от костра и чиркнул им по траве. Осветились кусты, грозно шевелившиеся сразу всеми своими ветвями. Теперь они были похожи на косматых зверей со вздыбленной шерстью, стоящих, опустив головы, на задних лапах за спинами моих друзей. Взметнулись мёртвые запахи сигаретного дыма, чьи-то приглушённые голоса, отблески изумрудных бутылок. Оживить их не удавалось. Я был далеко.

От ветра глаза стали слезиться, и я наконец разглядел — сквозь слёзы всегда виднее — среди расплывавшихся неопалимых кустов красно-белый квадратик клеенки, себя самого, своё одиночество, которое, точно побитая собака, крутилось рядом, заглядывая в глаза мне, и всех своих близких — даже тех, кого не было с нами тогда, — с поднятыми стаканами в руках.

Лиц их уже было не разобрать. Но я знал, что сейчас они справляют поминки. Поминки по мне. И свет понемногу из них уходил.

Женщина с искрящимся обручем мошкары над головой сидела отдельно от всех, обхватив руками лицо. И я знал, что с каждой минутой большеголовый ребёнок, которого никогда не увижу, растёт в её теле.

Лето

Сизое пятно, проступившее прямо над луною, стремительно разрасталось, темнело, превращалось из безобидной тучи в распростёртые крылья черного архангела, голова которого была далеко за горизонтом. Крылья вздымались и опускались снова, разгоняли в асфальте расплющенные вееры горячих пальмовых теней, все плотней накрывали своим серебристым исподом город, застывший в изнеможении от духоты.

Ветер к земле прижимал налитую грозным шуршанием плоскую крышу. До блеска вылизывал сотней шершавых своих

языков. Бормотал заклинанья, обсасывал, одну за другою, каждую из мерцавших антенн. Тщательно, чтоб ни единой частицы грязи, принятой из эфира, на них не осталось, вытирал обрывками мокрых газет. И осипшие птицы воздуха, раскрыв свои длинные клювы, носились между хлопающими газетными листами.

Светопреставление началось ветвящимся спазмом в груди архангела, во взлохмаченной завязи между сросшихся крыльев. Небосвод раскололся беззвучно на две неравные половины, и молниеносная трещина впилась острым концом в далёкие болота.

Белая волна света хлынула в комнату и окатила меня с головой. Стена за спиною колыхалась, как занавеска от ветра.

Раскрыл окно и глубоко, до головокружения, затянулся ветром. Пузырьки озноба поднялись откуда-то из глубины. Плотный мрак, окружавший дом, распался на куски. Под огромною аркою из крыльев архангела тянулись, насколько хватало глаз, цепочки аккуратно лоснящихся кубиков, прорезанных мигающими огоньками, двойным свечением фосфора и антрацита.

Я стоял, высунувшись в окно, в самом центре вселенной, наполненной блестящею чёрной водою. Дышать было трудно, кровь гулко стучала в висках. Воздух был разреженным, будто трещина в небе втянула в себя его бо́льшую часть. Звенящая лёгкость медленно разливалась внутри, омывая, разглаживая засохшие пролежни на душе. Но в лёгкости этой таилась опасность. Последнюю неделю я провёл в спячке на берегу океана среди других тел, бессмысленно созревавших, как уродливые плоды, на солнце, и моя новая очищенная душа ничем ещё не была защищена.

Раздался оглушительный треск, и голова вдруг заполнилась грохотом. Он крутился из стороны в сторону, наталкивался на стенки, отражался от них, становился сильнее и сильнее. И, когда уже невозможно было выдержать, прорвал барабанные перепонки и вырвался наружу. Теперь он заполнял собою весь небосвод, накренившийся под тяжестью воды куда-то к югу. Казалось, исполинский каток расправлял, выравнивал над отвесным шуршанием ливня потрескавшуюся твердь с другой стороны. Грохот, наконец, обвалился за край горизонта. Сияющий цветной дождь повис на секунду, не достигая земли, и сразу же, расправив крылья, рухнуло на серебристый город, накрыло его собою влажное тело архангела.

…сильнее вод многих, сильнее волн морских…

Ожили по углам дома водосточные трубы. Залитая водою крыша — вознесённый высоко над землёю квадрат океана — стояла на четырёх урчащих водопадах. И антенны, усеянные

зелёным электричеством, торчали из грязной бушующей пены мачтами кораблей, потерпевших крушение.

А за окном прорастали беззвучно сквозь мутную плёнку дождя острые листья взъерошенных пальм, извилистые мазки кипарисов. Переливающаяся чёрными отблесками вода выгибала линии улиц, контуры крыш, узкие вскрики зияющих колоколен, их вывалившиеся наружу языки.

Опять загрохотал каток в растрескавшемся небосводе. И в окоём, огранённый окном, вползли появившиеся из темноты каменные чудовища одноэтажных зданий. Они надвигались со всех четырёх сторон медленно и неумолимо под дробный стук деревянных капель. Жёлтый свет разгорался в окнах всё ярче. Шли они боком, словно чёрные ледоколы, выставив смертоносные, отполированные ливнем углы и расплющивая чавкающее месиво травы, распаренных молочных плафонов, асфальта и лунных стеблей. Острые полосатые навесы над дверьми торчали по сторонам. Потоки воды, не касаясь, огибали сухие тёмные крыши, словно само пространство вокруг них было изогнуто. Закрученный в спирали пар струился из лихо заломленных труб. И птицы воздуха, прилетевшие по мою душу, с карканьем кружились над ними.

Чистый и пустой, ставший вдруг намного старше себя самого, стоял я в блестящей кольчуге из чешуйчатых отблесков, расставив ноги и перегнувшись пополам над подоконником. Миллионами маленьких сосущих ртов хрипел, задыхался вокруг студенистый ливень.

Мокрая, шевелящаяся темь перехлёстывала через окно, стекала за шиворот. Под стук деревянных капель — или это сердце моё так стучало? — невидимые водопады, готовясь к атаке, утробно урчали в железных трубах. Указательный палец сжимал, как взведённый курок, щеколду оконной рамы. Кусок сверкающей ливневой пелены удушливым целлофаном плотно прилип к лицу. Прорези для глаз и для рта были слишком узкими. Любое движение шорохом отдавалось в затылке.

Я был одним из стоявших у открытых окон. И не было конца светопреставлению в переполненной влагой вселенной. Ослепительные трещины вспыхивали теперь со всех сторон. Небо с грохотом раскалывалось на огромные куски и сразу срасталось снова в невидимый купол. Поднимались в воздух деревья, запрокидывали назад свои кроны и плавно опускались. Медленные волны шли под землёю, и поплавки машин покачивались на них. Вздувались, лопались нарывы в асфальте. Бурлящая вода уносила грязь и гной великого города в преисподнюю сквозь щели в сверкающих люках. Распрямить

указательный палец, о который с брызгами разбивалась сейчас холодная вода, никак не удавалось. И страшно гудел кондиционер за спиной.

Когда небесные вспышки ослепляли здания, медленно и неумолимо приближавшиеся ко мне на подземных волнах, те замирали и таращились, не мигая, своими воспалёнными, остекленевшими глазами. Но как только тьма возвращалась, они оживали, и снова, словно пена, вскипали их белые тени. Наполненное сырою извёсткой дыханье смешивалось с дождём. Алой желчью, еле сдерживаемым бешенством полоскался в незрячих квадратных зрачках электрический свет. Внутри неподвижно стояли плоские люди, похожие на фанерные мишени, которые выставляют возле горящих факелов на ночных стрельбах. Когда учат убивать… И они ждали…

Терпеливо ждали, что переполненная мёртвой водой и сиянием крыша обрушится и раздавит нас всех, наконец.

Осень

Всего одна легко взбегающая по холмам тропинка, в которой осталась галька ещё и песок от недавно ушедшей воды, ведёт в этот лес сквозь шуршанье багровых и жёлтых листьев, сквозь тонкий писк счастливых комаров, празднующих своё последнее солнце, сквозь терпкий настой из хвои с костяникой, влажного валежника, пожухлых грибниц и коры, накопившийся в тёплых воздушных ямах.

После тропинки начинается тонкотканый ковёр из бледно-зелёного мха с прорехами ноздреватых валунов, непрерывно меняющих окраску. Ковёр — словно пол распахнутого храма всех деревьев, созданных по образу и подобию вечнозелёного Древа Жизни.

Сияющий ветер лес готовит к последней осенней службе. Узоры из светотеней тщательно к валунам подбирает. Выстилает их лучшими листьями с иконной сквозной позолотой, переложенными сосновыми иголками, чтобы ног не поранил входящий. Гудит вдохновенно в облепленных солнцем и плесенью длинных волокнах, в трубах-стволах уходящего в небо органа. Водит по выгнутым веткам тонкими прутьями — будто янтарной смолою натёртыми, струнами тёмного света. И в *вышних* пробует их звучание, многоголосое их согласие…

Тёплый воздух промыт очень слабым раствором из уксуса и марганцовки. Отовсюду торчат переломанные лучи, единственные прямые — да и те нездешнего, но солнечного

происхождения — в этом мире плавных, струящихся линий. Ни одной мёртвой вещи, сделанной людьми. Мерцают в засохшей густой паутине одинокие капли дождя. С морщинистой кожи столетних деревьев отодраны краски, чтобы не дребезжала обшивка органных труб, чтобы каждый ствол, когда войдёт в него ветер, начальник хора деревьев, издавал в чистоте тела свой выверенный и только ему присущий звук. И внизу, у подножиев их извиваются, корчатся между корявых коряг цветные струпья коры и пятна света, придавленные тенями.

Слышно, как время течёт, оставляя в лице у тебя промоины длинных морщин, намечая пути для будущих слёз. Ведь и ты когда-нибудь тоже научишься плакать. Неспешное, прозрачное время осеннего леса, в себя вобравшее все времена. Слышно, как в нём проступает знакомый прерывистый ритм, и не ритм даже, а многоголосая лесная полиритмия. Как низкое небо скользит по глазам, и обеззвученная музыка кружащихся, умирающих листьев, вплетается в стройный хор сосен, в надсадное голошенье осин, в трепетанья и жалобы огненных клёнов и лип лепечущих всхлипы.

Высветляется лес. Выветриваются из него последние запахи летней гнили, пожухшей коры. Стволы сияют, будто в преображении. Тысячью протянутых во все стороны рук цепляются побеги и стебли за ветер, раскачиваются, прижимают к себе охапки пылающих листьев. Шелестящие перешёптывания шныряют в осиянных высоких кронах, перескакивают с одной на другую, и синею кровью смерти взбухают твёрдые жилы веток. Холод уже отложил личинки в раны поломанных сучьев. Под ними волосатые, мощные корни растут, словно кусты, перевёрнутые ветвями вниз. Пожирая сгнившие в удобрения прошлогодние листья, вползают беззвучно в чёрную почву. Срастаются в белый фундамент, в упругое ско́рние бревенчатого, выветренного храма.

Одиночеством, старческим одиночеством наполняются души деревьев. Ожиданьем минуты, когда зазвучат, наконец-то, органные трубы воздыханьем-мольбою мятущейся плоти — косноязычным молением о сохранении жизни, о воскресении мёртвых животных, цветов и растений. Щемящая нищета и беззащитность оставшихся один на один с наступающим холодом. Ведь те, кто умерли, валяются здесь же с трухлявыми уже корнями, вывернутыми наружу. И нет у них возраста. Не только храм, но и кладбище.

…чтобы смертное поглотилось живым… ибо землю наследуют слабые… ведь ещё ненадолго есть с нами свет…

Входить туда надо вдвоём. Всем телом вслушиваясь в

текущий по ярко-синему куполу распев несметных ветвей, побегов, стволов и лучей, соединённых ветром. Входить осторожно, чтоб не вспугнуть серебристого ужа, греющегося всегда на одном и том же камне, или молодого, безрогого ещё оленя, который, тычась мордою в запахи, ищет в лощине еду среди бурого мха и посматривает на тебя с недоумением. Не раздавить ручеёк коричнево-красных тонконогих муравьёв под твоею ступнёю. Ведь народ в лесу нашем очень пугливый, и вместе мы прячемся здесь от чужих. Но, если ты с ними, то ни одна, даже самая дикая, ветка не хлестнёт тебя по лицу, ни один, даже самый зловредный сучок, не расцарапает твоей щёки. Выше нас дерева возносятся к небу, глубже в землю они проросли. И зла не делают они никому.

Потом — когда разговор наших тел перейдет, наконец-то, на сбивчивый шепот, когда он опять распадётся на два благодарных и утолённых молчанья, когда печальной станет твоя душа, — лежать на спине во мху, пропитанном любовью, понемногу пробуждаясь от яви. Отгонять комаров, слушать ветер. Наблюдать, как он пригибает кусты, как он их склоняет к смиренью. Засыпать, поглощая раскинутыми ладонями солнце, просыпаться снова. Улыбаться блаженно и осовело сообщницам-веткам, укрывавших от солнца и всё время подсматривавших за нами.

Лес, куда ты опять засыпаешь, неотличим от этого леса. По обе стороны сна насколько хватает глаз моховой ковёр испещрен очень сложными, нигде не повторяющимся украшениями, сплетёнными знаками леса — мерцающими киноварью бусинками костяники и волчьей ягоды, неровными стежками рыжих сосновых иголок, маленькими круглыми зеркальцами черной, с алыми разводами воды, чуть подернутой девственной гнилью.

Твой взгляд поднимается кверху, блуждает в толпе голенастых деревьев. В самом центре неба нестерпимо пылает солнце. Из закрученных вокруг него облаков выходят шесть лучей — золотые рёбра, скрепляющие купол.

Гудит нетерпеливо перед началом живой литургии деревянный орган. Из земли, из белого ско́рния леса по стволам поднимаются первые звуки, выходят наружу сквозь мощные раструбы крон. Налёт сна с них понемногу сходит — ты проснулся, но это ещё не ты. Янтарных прутьев косые линейки плывут — уже наяву — по натянутым веткам, плавно изогнутым на концах, будто грифы со сломанными колками. И льётся со всех сторон спелёнутый в молитву тихий распев раскачивающихся деревьев, теряющих листья, впадающих в забытьё. Молитву об

ангеле леса, который к ним спустится с вестью благой.

И ты становишься лучше, когда слышишь его.

Стебли срывают с себя прилипшие листья, словно грязные бинты с кожи. Выгибаются костлявые руки веток, тянутся к небесному своду. Обступают тебя и начинают кружится. И вся твоя жизнь, все дни, проведённые здесь в лесу, вплетаются в древокружение, в летящее столпотворение скользких стволов и лохмотьев жёлтого света, свисающего между ними. Кружатся вокруг солнца, как крылья огромной стеклянной мельницы, шесть главных его лучей, кружится весь храм вместе с многоярусными ярко вычерненными облаками, сползающими медленно на край купола, на хвойную гряду горизонта.

Отворачиваешься, закрываешь плотнее глаза, открываешь их снова. И, застигнув себя врасплох, во внезапно ожившей яви, в самом центре её видишь новое небо и новую землю. Которых на самом деле, может, и нет. Но это неважно. Просто надо поверить и сразу увидишь. Завораживающий блеск исходит теперь от светлоногих деревьев, возвратившихся уже на свои места. Контуры веток, словно прочерченные синими чернилами, легко подрагивают. Длинные линии сломанных скрюченных сучьев похожи на зеленеющие от солнца ивритские буквы в прозрачном свитке, который натянут между стволами, чтобы следить могли все за молитвой во время службы.

Одна, как видно, совсем уж с ума сошедшая от безысходности, горбатая липа вдруг неслышно выходит из толпы и приближается почти вплотную. Всхлипывает, рвёт на себе скукоженные, выгоревшие от солнца висюльки, растрёпанные вороньи гнёзда. Потом, выпростав из косматой трясущейся кроны корявую ветку, отчаянно и бесстыдно задирает подол тёмно-шафранового поредевшего рубища. Через голову, с хрустом выворачивает его наизнанку, обнажая всё худосочное незагорелое тело, покрытое оспами и застывает, словно сведённая судорогой. Смотри, мне терять уже нечего.

И сыплются, сыплются стаи аспидно-чёрных ворон из-под задранного подола. Разинув застывшие клювы, носятся над твоей головой. Будто сотней раскрытых ножниц, беззвучно кроят из тугой синевы для ветра новое платье. Иногда, точно подстреленная твоим взглядом, одна из небесных закройщиц стремительно падает, но в последний момент, уже почти коснувшись тебя крылом, вдруг снова взмывает и продолжает своё слепое круженье.

В слоистых запахах леса проступает чуть-чуть прогорклый, царапающий запах засохшей хвои, свечей и гнилых мандаринов. Откуда, из-под какой новогодней ёлки твоего военного детства

принёс его сюда вездесущий ветер? Или у запахов, как у икон, тоже своя обратная перспектива, и чем ближе к детству — тем слышнее они? И память дольше у них?

Сон опять незаметно меняется с явью местами, но для тебя по-старому всё остаётся, ведь ты безнадёжно застрял между ними. Тускнеет так умело подобранная пестрота мохового ковра. Смеркаются листья над твоей головою. Верхушки деревьев теперь протыкают насквозь огромное низкое солнце, уже освободившееся от облаков. Бесформенные груды горящего золота громоздятся над ними. Лучистый купол нерукотворного храма пригнулся к земле, ещё больше отделяя тех, кто внутри, от остального мира.

На самом краю окоёма видна год назад ещё удочерённая веточка с нашим сдвоенным именем. Сейчас и узнать её трудно. Исхудала, осунулась, совсем почернела. Серебристо-зелёное платье испачкано бурыми пятнами, следами ночных заморозков. Задубела тонкая кожа, коростой покрылась. Разбухшие суставы торчат во все стороны. Но в длинном сердце, в тугих молодых волокнах ещё сохранился поющий остаток тепла. Только хватит ли на целую зиму? За близких особенно страшно. И, словно чтобы нас успокоить, она взлетает, легко и привычно водит танцующей тенью тебе по лицу.

Тёмный солнечный зайчик щекочет набухшие веки. Облетает листва. Облепляет лицо листопад. Ты слушаешь — почтительно и отрешённо, — как осеннее время твоей жизни сливается с голосом ветра, вставленным в раму из трепетных шорохов и воздыханий, как по секунде, по маленькой капле прозрачной зелени стекает оно сквозь мох в кромешную тьму. И бережно складываешь услышанные слова. Одно к одному. Чтоб помогали, поддерживали друг друга, когда с первой звездой придётся звучать им. Ни единою буквою не сфальшивить, ни одной запятою неверной не нарушить их прерывистый пульс, их уже истончившийся ритм. Свидетельство о заброшенном соборе деревьев, пронизанном заходящим солнцем, о кружащихся внутри его листьях, соединённых, как слово и слово, в огромную молитву леса, о дряхлеющей плоти, источенной короедами, и о наполненном бормотанием одиночестве. Может, кто-нибудь после нас…

Высокое беспокойство теперь наполняет тебя. Почти истекло уже время. Надо спешить. Не вставая с земли, начинаешь шарить вокруг. Среди ржавых сосновых иголок и разбухших струпьев коры нащупываешь, наконец-то, косые лучи, торчащие рядом в дремотой пропитанном мху. Осторожно на прочность их пробуешь. Потом выдёргиваешь, наматываешь на кулак. Минуту смотришь — уже не глазами, но через глаза — в нависшие ветки.

Узнаёшь по движению извивающихся листьев, что ветер совсем уже рядом. И тогда рывком себя поднимаешь к небу. Ошеломлённая душа, как воздушный змей, привязанный к телу прочными нитями, подхватывает ветер — Божий ветер, веющий уже не только в пространстве, но и во времени — и носится, носится перед началом службы Судного Дня, не находя себе места под куполом леса. Леса, из которого мы никогда не выйдём.

Ты успеваешь ещё разглядеть сквозь приоткрытую щель между явью и сном нас обоих внизу. Последнее, что удаётся запомнить.

Конечно, сейчас всего этого не существует. Да, наверное, и раньше не существовало. Но я записал свои воспоминания о четырех временах ветра в надежде, что будет дано мне увидеть их когда-нибудь снова. И можно будет сравнить.